



Николай Гейнце
СЦЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЖИЗНИ



Николай Эдуардович Гейнце

Сцены из петербургской жизни. Рассказы

Николай Эдуардович Гейнце, автор целой библиотеки исторической остросюжетной беллетристики, был известен всей читающей дореволюционной России. В своих романах, обращены они к личностям государей или «простых смертных», попавших в их силовое поле, он ищет тот государственный стержень, который позволяет человеку оставаться Человеком в любых обстоятельствах.

СОДЕРЖАНИЕ:

♦ СЦЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

- Торжество добродетели.
- Современные сестрицы.
- Дорогая шляпа.
- Чековая книжка.
- Выигрышный билет.
- Этажом ошибся.
- Вечный жених.
- От Москвы до Петербурга.

♦ МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

- Бессилие искусства.
- Исповедь.
- В цирке.
- Портрет.
- Петербургская субретка.
- Первая подлость.

Содержание

СЦЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ Рассказы
0006

Торжество добродетели (из петербургской жизни) 0006

Современные сестрицы (из петербургской жизни) 0010

Дорогая шляпа (из закулисной жизни петербургского кафешантана) 0017

Чековая книжка (из жизни петербургского темного люда) 0025

Выигрышный билет (Петербургская быль)
0029

Этажом ошибся (правдивая история) 0035

Вечный жених (Тип) 0043

От Москвы до Петербурга (наброски с натуры)
0049

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ (СЮЖЕТЫ ЗАИМСТВОВАНЫ)
0060

Бессилие искусства (Драма в цирке) 0060

Исповедь (Этюд) 0069

В цирке (вечерняя фантазия) 0077

Портрет (Этюд) 0082

Петербургская субретка (одна из столичных метаморфоз) 0091

Первая подлость (рассказ) 0102

Николай Эдуардович Гейнце
Сцены из петербургской
жизни

СЦЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ *Рассказы*

Торжество добродетели *(из петербургской жизни)*

— **Т**ак вы поступаете с несчастной, любящей вас женщиной, через год любви! Только через год! Я, беззащитная молодая вдова, приехала в этот столичный омут, в этот ваш Петербург, не успев оправиться от безвременной утраты любимого мужа, без средств к жизни, желая в большом городе найти себе честный кусок хлеба, поступив в гувернантки, в лектрисы, в компаньонки, в конторщицы, чтобы, добывая себе скудное пропитание тяжелым трудом, окончить свою жизнь, как была, — честной женщиной.

Она быстрым движением откинула шлейф своего роскошного утреннего капота и нервно заходила по мягкому, пушистому ковру убранного как игрушка будуара.

Он стоял, опершись правой рукой на спинку chaise longue'a с опущенной головой и молчал.

— Я встретила с вами, — она остановилась снова перед ним, — я увлеклась, я, слабое создание, была не в силах устоять против вашей элегантной внешности, против ваших заискивающих ласк, против хитросплетенных сетей соблазна, я отдалась вам безраздельно, бесповоротно, безрассудно...

Она закрыла своими маленькими ручками, сплошь унизанными дорогими кольцами и браслетами, красивое вызывающее лицо, обрамленное роскошными волосами пепельного цвета, и замолкла.

Он не смел поднять на нее глаза.

— Правда, вы окружили меня роскошью, — начала она снова упавшим голосом, бессильно опустив руки и обводя комнату полупрезрительным взглядом, — вы исполнили все мои прихоти, даже капризы, вы, видимо, любили меня, но эта роскошь, этот комфорт куплены ценой моего падения...

Она истерически захохотала.

— Я простила вам и это, я до сего дня люби-

ла вас, любила безумно, мысль о неверности казалась мне преступлением среди этой жизни в грехе, а вы... через год, только через год...

Она подступила к нему совсем близко.

— Где вы были вчера вечером?

Он сделал движение губами, не поднимая головы.

— Не открывайте рта, не оправдывайтесь, я знаю это лучше вас... В отдельном кабинете у Кюба с одной из тех тварей, которые составляют достояние всех... Вы, пользующийся взаимностью красивейшей женщины Петербурга...

Она отступила от него и окинула себя быстрым взглядом в огромном трюмо.

— И притом честной женщины... — с пафосом добавила она.

— Идите вон! — крикнула она через мгновение, сделав величественный жест по направлению к двери, — и чтобы нога ваша не переступала этого созданного вашими же грязными руками гнездышка любви...

Он продолжал стоять молчаливый, смущенный, застигнутый врасплох.

Она была права, он был виноват, он под-

дался обаянию французской сирены, но как могла она узнать про это таинственное свидание, при котором им принято столько предосторожностей?

Он недоумевал.

Оставалось одно: предложить ей руку; сердце уже было давно ей отдано. Он знал, что она всеми силами души желала этого, но до сих пор воздерживался, хотя был совершенно независим и самостоятелен; страшно расставаться со свободой.

Теперь это являлось единственным средством смягчить ее справедливый гнев.

Он решился.

— Прости, прости меня, моя дорогая, я виноват, каюсь, я увлекся, прости меня, ты имеешь полное право упрекать меня...

Он сделал к ней несколько шагов.

Она отступила...

— Прости меня, этого более не повторится; отныне я хочу, чтобы ты еще более имела прав на меня, я прошу тебя быть моей женой...

Он снова приблизился к ней.

Она не отступила.

Через несколько времени состоялась их свадьба. Только несколько друзей после церковного торжества выпили по бокалу шампанского в их гнездышке любви.

Один из друзей спросил его, как пришла ему мысль жениться?

Он рассказал все.

Друг улыбнулся. Он вспомнил вечер, проведенный с ней в отдельном кабинете ресторана Кюба, и то, как она внимательно прислушивалась к говору в соседнем кабинете.

Современные сестрицы *(из петербургской жизни)*

Завернул это я на днях на Варшавский вокзал к скорому поезду проводить одного приятеля, покидавшего «любезное отечество». До отхода поезда оставалось более получаса: мы засели за один из буфетных столиков выпить прощальную бутылку.

Отъезжающих было не особенно много, больше все иностранцы, русских же наперечет.

За соседним с нами столом поместилась компания русских, состоявшая из двух дам и двух кавалеров.

Дамы были обе молоденькие — одна блондинка, с льняным цветом волос и каким-то восковым прозрачным миловидным личиком, другая совершенная брюнетка с выразительными чертами дышащего здоровьем лица.

Несмотря на кажущийся контраст, в лицах обеих дам было что-то родственное. Мужчины были также своего рода контрастами — один блондин, с реденькими чиновничьими баками и гемморoidalным лицом истого петербуржца, другой темный шатен, с небольшой окладистой бородкой, с энергичным выражением лица и проницательным взглядом карих глаз, блестевших из-под очков в золотой оправе.

Шатен и блондинка были одеты в дорожные костюмы.

Блондин и брюнетка — в городские; они, видимо, провожали первых.

Костюмы всех были весьма изящного покроя.

Они говорили по-русски и были все на «ты» друг с другом.

На столе перед ними стояла покрытая салфеткой бутылка шампанского и фрукты...

Меня почему-то заинтересовала эта компания, и я стал прислушиваться к разговору.

Увы, он не давал никакой путеводной нити к разгадке говоривших личностей. Разговор шел о курсе, перекидывались взаимной просьбой писать. Родственное «ты» звучало какой-то дисгармонией в видимо натянутой беседе.

Это заинтересовало меня еще более.

В это время в буфетную залу вошел приехавший тоже провожать моего приятеля наш общий знакомый и направился к нашему столу.

Проходя мимо стола, за которым заседала заинтересовавшая меня компания, он снял шляпу и поклонился. Все сидевшие ответили ему поклоном.

— Кто это, что сидят рядом с нами, наклонился я к нему, когда он, поздоровавшись с нами, уселся за стол. Он назвал фамилии мужчин. Блондин был чиновником, а шатен

был доктор.

— А дамы?

— Блондинка жена блондина, а брюнетка ее сестра. Да на что вам понадобилось все это?

— Они меня почему-то заинтересовали.

— Ишь у вас нюх-то какой! Они в самом деле действующие лица недавней драмы, хотя с благополучным, как видите, концом. Это целая история...

— Расскажите!..

— Извольте...

Он передал мне наскоро следующую, не лишённую пикантности и далеко не заурядную историю:

Лет пять тому назад, две сидевшие за столиком сестры: старшая блондинка и младшая брюнетка жили со старухой матерью в собственном доме на Петербургской стороне. Отца обе потеряли еще в детстве. Он оставил им хорошее состояние. За старшей сестрой ухаживали два друга, только что окончившие курс — медик и юрист. Медик был застенчив и робок с женщинами, юрист — большой руки ловелас. Пока первый обдумывал сделать

решительный шаг, второй уже успел увлечь девушку и объяснился.

Доктор, наконец, решился сделать предложение в день рождения любимой девушки, когда ей исполнилось восемнадцать лет, но, увы, этот день оказался днем объявления невестой его друга.

Опоздавший затаил в себе свое горе и остался другом счастливого соперника, весьма часто бывал у супругов и был их домашним доктором.

Молодая женщина догадывалась о его застенчивой беспредельной к ней любви, но, боготворя своего мужа, не показывала доктору об этом даже и виду, стараясь, напротив, держаться от него подальше.

Доктор, со своей стороны, ни на что не рассчитывал. Его дружба к ее мужу была совершенно искренняя.

Через два года после свадьбы умерла ее мать, и ее младшая незамужняя сестра переехала к ней.

Они стали жить втроем...

Муж видимо ухаживал за своей свояченицей, старался всячески ей угодить, но любя-

щая жена была вне всяких подозрений, объясняя все это желанием сделать приятное ей, так как муж знал, что она горячо любила сестру.

Так шло время...

Месяца три тому назад жена его друга захворала и слегла.

Болезнь была серьезная. Доктор внимательно следил за ее ходом и приложил для ее излечения все свои знания... Больная стала поправляться.

Однажды, это было не особенно, давно доктор, приехав утром, позволил ей в этот день встать, но не надолго, и уехал, обещав заехать на другой день.

— Я не скажу мужу, а сделаю ему сюрприз, — подумала больная, — вечером одену капот и пойду к нему в кабинет. То-то удивится и обрадуется.

Сказано-сделано.

По возвращении мужа со службы, часа через два после обеда, больная встала с постели, накинула капот и тихонько пошла к кабинету, отворила дверь и... увидела свою сестру, сидящую на коленях у мужа...

По странной тайне человеческого организма, слабая женщина вдруг окрепла: твердой походкой прошла она в переднюю, надела верхнее платье, накинула на голову платок и вышла из дома.

Ошеломленные, застигнутые врасплох, муж и сестра не успели опомниться, как она уже ехала на извозчике на холостую квартиру доктора.

Последнего не было дома.

Пораженный расстроенным видом приехавшей дамы лакей не осмелился не пустить ее в квартиру.

Она прошла в кабинет.

Возвратившийся доктор застал свою нежданную гостью полулежащей в кресле в глубоком обмороке...

Он привел ее в чувство... Она рассказала ему все...

К мужу она не вернулась и сошлась с доктором...

Муж возвратил ей все ее вещи и капитал, тихо, мирно, без скандала.

Они даже помирились.

Теперь, оправившись от болезни, она с

доктором уезжает за границу. Муж и сестра, как видите, провожают их.

— Чем это не тема для современного романа? Дарю вам ее! — закончил рассказчик.

Раздался второй звонок.

Все поспешили на платформу.

Я видел, как компания, сидящая за столом, расцеловалась друг с другом на прощание.

Пробил третий звонок. Поезд тронулся.

Блондин подал руку брюнетке. Они вышли из подъезда вокзала, сели в ожидавшую их изящную пролетку на резинах и укатили.

Дорогая шляпа

***(из закулисной жизни
петербургского кафешантана)***

Было четыре часа пополудни второго дня Святой недели.

В одном из громадных домов Офицерской улицы, во дворе, в убогой комнате, отдаваемой «от съемщика», сидел на сильно потертом, но когда-то обитом американской клеенкой, покосившемся, видимо, от отсутствия одной ножки, диване «куплетист» одного сто-

личного увеселительного заведения Федор Николаевич Дождев-Ласточкин.

На столе, стоявшем перед диваном и покрытом цветной скатертью, кипел позеленевший от времени самовар и между чайной посудой стояли бутылка водки, рюмка, тарелка с хлебом и довольно значительных размеров куском ветчины. Тут же лежали разбросанные деньги: две радужных и объемистая пачка мелких кредитных билетов.

У стены, около двери комнаты, убранство которой дополняли несколько разнокалиберных легких стульев, железная кровать с убогой постелью и небольшой комод, на котором красовалась шелковая шляпа-цилиндр, стояла в почтительной позе высокая худая старуха с хищным выражением лица — квартирная хозяйка, известная между ее жильцами под именем «Савишны».

— За мной за два месяца и четырнадцать дней, следовательно, по первое мая за три месяца, — говорил Дождев-Ласточкин.

— Точно так-с, — отвечала Савишна, пожирая глазами лежавшие на столе кредитки.

— За три месяца, значит, будет всего тридцать

цать шесть рублей — получите, — отсчитал он ей деньги и подал.

Старуха дрожащими руками приняла деньги и тщательно их пересчитала.

— Очень вами благодарны... Таперича, значит, мы по первое мая в расчете.

— То-то, а вчера ругаться да мировым страшать... Ах ты, старая карга, Бога бы побоялась, — для такого праздника.

— Уж не осудите: такое наше ремесло, — сделала сконфуженный вид старуха и поспешно удалилась из комнаты.

Федор Николаевич остался один.

— Вот они, голубушки, — положил он руку на лежащие на столе деньги, — и почет и уважение, и талант, и гений — все в них, — задумчиво произнес он и, налив себе рюмку водки, начал резать ветчину.

Дверь комнаты распахнулась и в нее не вошел, а буквально влетел товарищ Дождева-Ласточкина по сцене, «рассказчик из народного быта» того же увеселительного заведения, Антон Антонович Легкокрылов.

— Дома и пирует... Ба, да ты Калифорнию, кажется, открыл, — увидел он лежавшие на

столе деньги.

— Здравствуй, — подал Федор Николаевич руку приятелю, — садись... Сперва чаю или водки?

— Конечно, последней, — заявил Легкокрылов.

Федор Николаевич выпил налитую рюмку, закусил и, наполнив ее снова — пододвинул к усевшемуся за стол Легкокрылову, а затем собрал со стола деньги и сунул их небрежно в боковой карман пиджака.

Легкокрылов выпил, закусил и уставился на хозяина.

— Да откуда тебе такая уйма денег свалилась, наследство, что ли, получил? — задал он вопрос после некоторого молчания.

— А помнишь, Кречинский сказал, что во всяком доме есть деньги, надо уметь только их найти.

— Так что же?

— Ну, я и нашел...

— Где же и как ты нашел?

— Как! Ум, брат, всему делу начало, ум, но работает он подлец, только в крайности, поэтому и полагаю я, что все великие открытия

сделаны нищими.

— Да ты не философствуй, а расскажи толком, — приставал гость.

— Нет, ты погоди, — продолжал Федор Николаевич, — остался я к первому дню праздника в этой только паре, даже фракную на страстной заложил, а без нее, ты знаешь, каждый из нас, как солдат без ружья, за квартиру три месяца не плачено, хозяйка изгнанием грозит и только ради великого праздника милость оказала; — за душой ни полтины и вдруг одна гениальная мысль и в кармане три радужных.

— Три, — подавился даже куском ветчины пораженный такой суммой гость.

— Да, три.

— Но откуда же, не томи, голубчик!

— Изволь, для приятеля расскажу, — заметил Федор Николаевич. Затем, выпив рюмку водки и наполнив ее для Легкокрылого, он встал, подошел к комоду, взял цилиндр и подал его ему.

— Видишь!

— Вижу, шляпа, — недоумевал тот.

— Шляпа, — передразнил его Федор Нико-

лаевич, — а что на дне тульи написано?

— Ф. Н. Дождев-Ласточкин, — прочел Антон Антонович вытесненную золотом надпись и удивленно поднял глаза на хозяина. — Но в чем же дело? Не понимаю!

— Вот эта-то шляпа и принесла мне сегодня доходу триста рублей — словом, благоговей — это дорогая шляпа, — взял ее из рук Легкокрылого Федор Николаевич и бережно поставил на комод.

— Да не разводи бобы-то, расскажи! — не унимался Антон Антонович.

— Ты знаешь, что я с нашей шансонеткой Зюзиной разошелся, порвал все, она меня променяла на того восточного человека, который обыкновенно сидит у нас в первом ряду, то есть не на человека, а на ходячий набитый карман. Я ее не упрекаю, она сделала, подобно Периколле:

*До гроба твоя Периколла.
Но больше страдать не могу...*

Пропел Федор Николаевич и задумался. Антон Антонович застыл в ожидании продолжения.

— Теперь ее удел — роскошь и блеск, а мой — нищета и страданье! — меланхолически начал Федор Николаевич. — Одно, с ее стороны, подло: она, по настоянию своего восточного человека, который ревнив, как Отелло, порвала со мной всякое знакомство и я не могу даже прибегать к помощи моей бывшей подруги жизни. Наконец, как я тебе говорил уже, я дошел до крайности... Фрачная пара, понимаешь ли ты, фрачная пара и та заложена... Сегодня утром я решил идти к ней с визитом и — пошел!..

— Ну?..

— Звоню; отворяет горничная, я вхожу, «Дома?» спрашиваю. Смешалась. — «Никак нет-с!» говорит. На столе в передней, стоит шляпа-цилиндр, — его шляпа, тоже с вытесненной золотом фамилией; я свою — поставил рядом. Я сперва хотел войти насильно, но вдруг гениальная мысль озарила меня! Я беру вместо своей его шляпу и — удаляюсь... Обрадованная горничная запирает за мной дверь.

Федор Николаевич снова умолк.

— Дальше, дальше! — прошептал Легкокрылов.

— Иду оттуда и прямо домой. Не проходит получаса, как ко мне является ее горничная с моей шляпой.

— Обменять изволили!

— Знаю.

— Позвольте получить?

— Триста рублей, ни копейки менее, — заявляю я и выпроваживаю вон с моей шляпой.

Проходит еще томительных полчаса, и горничная со шляпой и пакетом с тремя радужными является снова. Я возвращаю шляпу.

— Да ты, Федя, гений! — порывисто произнес Антон Антонович, — выпьем, ты мне плесни в чайный стакан — вместе хочу.

Федор Николаевич начал наливать водку.

Чековая книжка

*(из жизни петербургского темного
люда)*

Встретился на днях с приятелем, который знает чуть не пол-Петербурга и посвящен почти во все закулисные тайны, как крупных, так и мелких столичных «дельцов».

Разговорились о том, о сем и между прочим о частых крахах петербургских банкиров.

— Конечно, заметил я, платится одна легкомысленная провинция...

— Нет, не скажи, — перебил он, — многие держат деньги у этих, с позволения сказать, банкиров и на вкладах и на текущем счету, соблазняясь высоким процентом, а иные имеют от них чековые книжки для разного рода кунштюков... С ними они обдeldывают свои делишки и пускают пыль в глаза...

— То есть как?

— Да так... Вносите вы, положим, в такую банкирскую контору тысячу рублей, вам контора выдает квитанцию в этой сумме и чеко-

вую книжку, на которой не обозначена сумма вашего вклада... Квитанцию вы запираете в ваш письменный стол, а книжку чеков кладете в карман и вы... капиталист... Вы берете по чекам деньги, выбираете даже все, но квитанция, а главное, чековая книжка остается у вас и вы все-таки... продолжаете быть капиталистом...

— Даже когда по этой книжке не выдадут больше ни гроша?..

— Даже когда не выдадут ни гроша... Да вот, вы знаете Z?

— Это комиссионера?.. Знаю, видал... он живет на Стремянной...

— Он самый, но вы ошибаетесь, он не может называться комиссионером в обыкновенном значении этого слова, он, поднимайте выше, делец... у него что месяц, то один проект грандиознее другого, он всегда окружен если не большими капиталистами, то во всяком случае состоятельными людьми, месяц-два безусловно верящими в его финансовый ум вообще и в его проекты: «Товарищество на паях для добывания олова на Мурманском берегу» и «Акционерное общество коп-

чения свиных туш в Тамбовской губернии для экспорта за границу», в особенности... Но это между прочим... Я отвлекся от нити рассказа...

Вот у этого самого Z всегда есть чековая книжка какой-нибудь банкирской конторы и на нее он зарабатывает хорошие деньги... Пригласит к себе обедать какого-нибудь еще не разочаровавшегося в нем будущего «пайщика» в деле «добывания олова» или «копчения свиных туш». Обед — надо отдать справедливость — всегда хороший, с шампанским, в седьмом часу вечера. Вдруг за обедом подает лакей, — пройдоха тоже парень, — телеграмму, всегда одну и ту же — тщательно ее сохраняют... Z разворачивает и читает: «Немедленно выезжайте курьерским, Москва, жду». Z за бумажник, там оказывается каких-нибудь двадцать-тридцать рублей...

— Каково, положение! — восклицает он. — Надо сейчас же ехать в Москву, а денег нет... Дайте, голубчик, триста — четыреста рублей, а я вам напишу чек на банкирскую контору — завтра в 10 часов получите... Приди телеграмма, — будь проклята наша почта, —

двумя-тремя часами ранее, получил бы сам, а теперь контора закрыта...

Еще не разочаровавшийся гость, будущий «пайщик», вынимает деньги... Z вырывает чек из книжки и пишет сумму и, выпроводив гостя... остается дома, приказывая лакею несколько дней говорить обедавшему с ним, что он уехал в Москву...

Через известное количество дней он, наконец, принимает своего нового кредитора, бросается к нему навстречу и не дает выговорить слова...

— Простите, ради Бога, мою рассеянность, чек с вами...

— Со мной, по нему ничего не выдали, так как деньги ваши уже все получены, — подает кредитор чек.

Z быстро рвет его.

— Из ума вон... совсем из ума вон, что денег там нет... Просто от этих дел голова идет кругом... Уж вы меня извините, голубчик, что заставил вас понапрасну проехать в контору...

— Ничего, ничего... — заставляет тот, думая, что сейчас получит свои деньги... Ни-

чуть не бывало.

— Завтра завезу вам с благодарностью, — заставляя Z, и это завтра продолжается до последнего «судного дня»... Так и живет... да еще как живет — припеваючи... Только частные крахи контор вводят его в хлопоты: приходится добывать и вносить деньги на время в другую контору для получения чековой книжки... — заключил рассказчик.

Выигрышный билет *(Петербургская быль)*

Павел Петрович Маслобойников был вдовоц.

Человек еще далеко не старый он служил бухгалтером в одной из петербургских банкирских контор и получал обеспечивающее его содержание.

Имея, кроме того, небольшой капиталец, он жил припеваючи.

Детей у него не было. Жениться второй раз он не намеревался, хотя среди знакомых, и маменек, и дочек, он считался завидным женихом, и его в силу того еще радушнее прини-

мали.

Павел Петрович посмеивался себе в ус и пользовался выгодами своего положения.

Двумя отличительными чертами характера моего героя были деликатность и скопидомство.

Последнее выражалось в отношении всех лиц, с ним так или иначе сталкивавшихся, независимо от того или другого их положения. Даже с единственной прислугой своей, кухаркой Марфой, он не иначе обращался как на «вы», величая ее Марфой Силантьевной.

Марфа Силантьевна была разбитная солдатская вдова, лет сорока, дородная и красивая баба, давно уже жившая по местам в Петербурге, оставившем на ней, вместе с промозглым запахом цикория, особый отпечаток, свойственный лишь истой «петербургской» прислуге.

Жила она у Павла Петровича лет около десяти, поступивши еще при жизни его супруги, и почти три года его вдовства бесконтрольно вела его небольшое хозяйство.

Нравственности она была безукоризненной и, хотя любила позубоскалить с соседней

прислугой и дворниками, но никакого «двоюродного брата» или просто «унтера» на кухне Павла Петровича не появлялось.

— Если в закон вступить, — оно пожалуй; а то что так публику-то пугать, — отвечала она на вопросы по этому поводу.

Павлу Петровичу и его интересам она была предана фанатически, и товарищи его даже смеялись над ним, говоря, что он держит из экономии влюбленную в него кухарку; да и на самом деле — малейшая шутка с ней Павла Петровича доставляла ей видимое удовольствие, и по лунообразному ее лицу разливалась масляная улыбка.

Живя тихо и скромно, она успела скопить себе на выигрышный билет внутреннего займа, и Павел Петрович сам купил ей его в своей конторе; два раза в год после тиража Марфа Силантьевна, подавая барину самовар, озабоченно спрашивала:

— А что, батюшка, Павел Петрович, на мою сиротскую долю ничего Бог не послал?

Оказывалось обыкновенно, что не послал.

Номер билета был записан у Павла Петровича.

Так мирно текла их жизнь, и лишь за год до описываемого мною события Марфа Силантьевна была встревожена известием о пожаре, посетившем ее деревню, и о том, что дом ее родителей сделался жертвой пламени.

Привез это известие ее шурин.

Поговорила об этом с барином во время утреннего чая, потужила, поохала, отписала в деревню — и все пошло по-прежнему.

Однажды, на другой день тиража, просматривая в конторе таблицу выигрышей, Павел Петрович был поражен: на билет Марфы Силантьевны пал главный выигрыш в двести тысяч.

Павел Петрович задумался.

— Славная она баба, — рассуждал он, возвращаясь домой из конторы, — простая, добрая, хорошая из нее жена выйдет...

— Двести тысяч — это уж какой капитал, а в хороших руках много с ним сделать дел можно, — мелькнуло у него в голове.

Он вернулся домой. На встретившую его Марфу Силантьевну он посмотрел как-то особенно нежно.

— Ну что, королева, обед готов, — взял он

ее за подбородок.

— Готов, мигом подаю, — зарделась Марфа Силантьевна.

Весь вечер просидел у себя в кабинете Павел Петрович, раздумывая, сказать ли Марфе о выигрыше и потом предложить ей руку и сердце, или же сперва жениться, а потом сообщить.

— А ну, как с такими деньгами она на меня и глядеть не захочет, — рассуждал Павел Петрович.

В согласии Марфы Силантьевны на брак с ним в ее настоящем положении он не сомневался.

Павел Петрович решил не говорить.

Смущенный ожидал он на другой день утром обычного вопроса Марфы Силантьевны об ее «сиротской доле», но его не последовало.

— Сам Бог помогает, — думал Павел Петрович, уходя на службу, — видно, забыла.

Ухаживаний Павел Петрович за Марфой Силантьевной, увенчавшихся полным успехом, и нежных сцен со стороны последней на мотив вопросов: «И за что ты меня дуру-бабу

любишь?» я описывать не стану. Скажу лишь, что со свадьбой поспешили. Она совершилась более чем скромно в присутствии лишь необходимых свидетелей-товарищей Маслобойникова, немало подтрунивших над приятелем и немало подивившихся его странному выбору.

Через несколько дней после свадьбы Павел Петрович решился, наконец, за утренним чаем, когда Марфа Силантьевна уже не стояла около, а восседала за самоваром в качестве «молодой хозяйки» — прислуживала же другая кухарка, — навести разговор об интересующем его предмете.

— Дай-ка, Маруша, — ласково начал он, — твой выигрышный билет, я его с своим положу — теперь все равно у нас все общее.

— Какой билет, батюшка? — уставилась на него жена.

— Как какой? Да вот, который я тебе четыре года назад купил, — еще ты все спрашивала, не выиграл ли?

— И, батюшка, я его еще летошний год разменяла, а деньги в деревню на поправку после пожара родным отослала. Шурин и разменял, и деньги отвез.

Павел Петрович побледнел, схватился обеими руками за голову — и откинулся на спинку стула.

Марфа Силантьевна бессмысленно уставилась на него своими заплывшими от жира глазами.

Картина!

Этажом ошибся *(правдивая история)*

— **К**олзаков!
— Хмыров!

— Какими судьбами?

— Проветриться приехал, плесень деревенскую стряхнуть.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Раздались поцелуи.

Так встретились на Невском два господина, один в меховом пальто и бобровом картузе, толстый брюнет с легкой проседью в длинной бороде, а другой шикарно одетый в осеннее пальто и цилиндр, блондин с тщательно расчесанными баками и в золотом пенсне на

носу.

Полный брюнет был богатый помещик одной из приволжских губерний, первый раз приехавший в Петербург Петр Александрович Колзаков, а изящный блондин — отставной корнет Аркадий Осипович Хмыров, проживший на своем веку не одно состояние, и теперь, в ожидании наследства, живущий в кредит, открытый, впрочем, ему почти везде в широком размере. Сосед Колзакова, по бывшему своему имению, Хмыров, был с ним приятелем, но несколько лет уже как совершенно потерял его из виду, продавши имение.

— Ну, как живешь? — спросил Колзаков.

— Ничего, надеемся, не унываем.

— Это хорошо!

— Женился...

— Ты?

— Да, с год, на француженке, парижанке, воплощенное изящество и грация. Впрочем, что же я расписываю, сам увидишь, зайдешь, чай. Ты надолго?

— Поживу.

— Так заходи.

— Всенепременно, на днях...

Хмыров сказал свой адрес, назвал одну из лучших улиц Петербурга, примыкающих к Невскому проспекту, близ Адмиралтейства, номер дома и квартиры.

— Да ты запиши.

— Запомню, я возвращусь к себе в гостиницу и сейчас же запишу.

Прятели расстались.

На другой день, часов около двух Петр Александрович нанял извозчика и отправился к Хмырову. Отыскав дом, он вошел в подъезд и обратился к швейцару.

— Квартира номер 12?

— Второй этаж, дверь направо.

Колзаков поднялся по лестнице и нажал пуговку электрического звонка.

— Дома? — спросил он у отворившей ему горничной.

— Дома-с.

Разоблачившись, Петр Александрович пришел в залу, затем в гостиную. Меблировка комнат была шикарна, но позолота мебели и багет страдали резкостью и аляповатостью.

В противоположной двери гостиной, через

которую виднелся роскошный будуар, появилась изящная блондинка с красноватым цветом волос, одетая в роскошный пеньюар из легкой материи, сплошь обшитой кружевами, так что казалось, что его обладательница утопала в кружевных волнах. Картина была поразительная.

Петр Александрович онемел от восторга.

— Славную, однако, штучку подцепил Хмыров, — мысленно сказал он себе, глотая слюнки и церемонно расшаркиваясь с хозяйкой.

— Bon jour, — протянула та ему руку, причем откидной рукав дал ему возможность увидеть ее всю до плеча, — je ne m'en souviens pas.

Петр Александрович положительно захлебнулся.

— Prenez place, — указала ему хозяйка на табурет.

Колзаков уселся.

Красавица опустилась на близ стоящую кушетку, причем откинула шлейф пеньюара, и Петр Александрович увидал очаровательные миниатюрные ножки, обутые в ажурные чул-

ки и шелковые голубые маленькие туфли.

Он сидел и млеЛ.

— А супруг ваш дома? — наконец, решился он задать вопрос.

— Je ne comprends pas!

Оказалось, что хозяйка не понимала по-русски.

Колзаков же не понимал совершенно по-французски.

Наступило молчание, во время которого Петр Александрович положительно пожирал хозяйку глазами.

— Верно, его дома нет, тоже вертопрах, одна заря, чай, вгонит, другая выгонит, а ей одной бедняжке скучно: хотя и говорить с ней не могу, а все посижу, больно хороша, — думал Колзаков.

— Peut etre voulez vous un gobelet de champagne? — начала хозяйка.

Петр Александрович с недоумением смотрел на нее.

— Выпить, — перевела красавица и сделала жест около рта, причем показала восхитительный розовый локоток.

Колзаков понял и утвердительно закивал

головой.

— Все за закуской посижу подольше, — подумал он.

— Денги! — вдруг протянула руку француженка.

Петр Александрович до того был поражен, что машинально вынул объемистый бумажник, развернул его и протянул ей.

Она осторожно вынула две радужных, причем, наклонившись к Колзакову, обдала его каким-то восхитительным ароматом, исходящим от ее тела сквозившего на груди через тонкую ткань кружев; у него закружилась голова.

Хозяйка, взяв ассигнации, исчезла в будуаре.

— Какой же подлец Хмыров: без денег жене оставляет, спросил бы вчера — я бы дал. Фонбаронство заело, гордость — на брюхе шелк, а в брюхе щелк. А она прелестна, и достанется же такое сокровище такому скоту. Приударить разве, да вот беда, по-ихнему не знаю...

В будуаре раздались легкие шаги, хозяйка появилась снова.

— Prends place ici, — указала она Петру Александровичу на место около себя на кушетке.

Ободренный Колзаков пересел, не веря своему счастью.

— Неужели будет успех! Только бы Хмыров не вернулся, — подумал он.

Через несколько времени на столе появилось замороженное шампанское.

Выпив несколько стаканов, Петр Александрович стал целовать у хозяйки руки и добрался до локотка.

* * *

Уже наступали сумерки, когда Петр Александрович, веселый и довольный выбрался из квартиры Хмырова.

На лестнице первого этажа ему встретилась какая-то изящная брюнеточка.

— Тоже штучка невредная! — прошептал он.

Вдруг перед ним как из-под земли вырос Хмыров.

— Ты откуда? — воскликнул тот.

— От тебя, брат, — смутился Петр Александрович, — недавно приехал, с женой твоей

минут пять посидел, — премилая барынька.

— Как с женой? Она сейчас со мной из гостей приехала, вперед прошла, ты ее встретил?

— Это брюнетка, нет — то блондинка.

— Какая блондинка?

— У которой я был.

— В каком номере?

— В двенадцатом.

— Ну, я живу в четырнадцатом, этажом выше.

— Значит, я этажом ошибся, — развел руками Колзаков.

— Ишь, старый греховодник, да как удачно ошибся-то, куда попал! — расхохотался Хмыров.

Вечный жених

(Тип)

— А proros! Вы завтра свободны от двух до четырех? — обратилась ко мне на днях Валентина Львовна Кедрина, моя хорошая знакомая, молоденькая, хорошененькая и разбитная вдовушка, довольно долго оставляя в моей руке свою миниатюрную ручку в лиловой перчатке.

— Для вас я свободен всегда, я не свободен только никогда от мысли о вас, — пошутил я.

— Шалун... я спрашиваю серьезно...

— Серьезно?

— Да, пойдите завтра со мной к Гомолицким...

— К Гомолицким... я их не знаю...

— Узнаете... я вас представлю, я давно об вас говорила... их дочь Наденька — брюнетка в вашем вкусе...

— Мне не надо никого... кроме...

— Кроме меня... знаю... слышала... но вам надо «петербургские типы», вы на днях говорили мне, а там вы встретите тип, который

едва ли встречали... Я специально и еду для того, чтобы спасти от него Nadine... или, скорее, карман ее татап.

— Вы, спасти... от кого?

— От «вечного жениха».

— От «вечного жениха»? Объясните, ради Бога, ровно ничего не понимаю...

— Тем лучше, пойдете туда, когда поедете... В два часа я вас жду...

Она вырвала у меня свою ручку и скрылась в подъезде.

Разговор этот происходил у одного из домов на Сергиевской улице, куда я проводил Валентину Львовну из Аквариума.

Обещанный тип меня крайне заинтересовал... «Вечный жених»... Что может значить это прозвище «вечный жених» в связи со спасением от него карманов.

На другой день я был аккуратен, и в начале третьего часа мы с Валентной Львовной уже были на Бассейной улице, где жили мать и дочь Гомолицкие, очень состоятельные люди, занимавшие роскошную квартиру в бельэтаже.

Во время церемонии представления меня

В зале, от моего внимания не ускользнула какая-то странная сконфуженность, почти смущение обеих хозяек.

Нас попросили в гостиную, где сидел в кресле довольно красивый господин, на вид лет сорока, элегантно одетый с волнистыми светло-каштановыми волосами и такой же расчесанной на двое бородой.

Я невольно взглянул на Кедрину — она очень заметно улыбнулась.

«Вечный жених» промелькнуло в моей голове, и я пристально оглядел вставшего при нашем приближении господина... Лицо его было мне знакомо, я встречал его зимой прогуливающимся на Невском, в концертах, театрах, на балах, а летом на загородных гуляньях...

— Андрей Дмитриевич Торбеев, вы не знакомы... — представила хозяйка гостя Валентине Львовне.

— Нет, мы хорошо знакомы... — подчеркнула последняя слово «хорошо» и поклонилась кивком головы.

По лицу Торбеева пробежало нечто вроде судорог, но он остался с полупротянутой ру-

кой.

Он подал ее мне, когда нас представили.

Не прошло пяти минут, как он встал и стал откланиваться хозяйке и ее дочери...

В гостиной еще никто не нарушил неловкого молчания, наступившего после неудачного представления...

Торбеев вышел очень быстро...

— Не понравилось... — громко захохотала ему вслед Валентина Львовна.

Обе хозяйки со страхом и беспокойством глядели на нее.

Я впился в нее глазами и насторожил уши.

— Он сватается за Наденьку? — спросила Кедрина в упор старушку Гомолицкую...

— Да... то есть... нет... почему вы так думаете? — растерялась та.

— Да потому, что я знаю, что он сватается всюду, сватался ранее за десяток других, сватался, наконец, за меня, так как он этим живет — это его профессия... он «вечный жених».

— За вас?.. — воскликнули разом мать и дочь.

— Да за меня... взял у меня две тысячи для

получения полугодового отчета из своего саратовского имения, на которое показывал мне план, фотографии усадьбы и живописных мест...

— Он показывал их и нам...

— Поздравляю... может, вы дали тоже денег...

— Нет еще... Я обещала завтра взять из банкирской конторы три тысячи... ведь он почти объявленный жених Nadine... — призналась m-me Гомолицкая.

— Гоните его, скорей гоните... — у него не только имения, у него ничего нет... Я тоже была его объявленной невестой... и благодарю Бога, что отделалась только двумя тысячами... Да он и не женится... Он начнет оттягивать на долгий срок, пока невеста не потеряет терпенья и не откажется сама, как я и сделала... — взволнованно говорила Валентина Львовна...

— Это невозможно... это невозможно...

— Да спросите Наталью Семеновну... он сватался и был даже ее женихом, несмотря на то, что ей сорок семь лет и она далеко не богата, — он сумел наказать и ее на тысячу руб-

лей...

— Но помилуйте, она-то нас с ним и познакомила... очень его хвалила!

Валентина Львовна покатила со смеху...

— Молодец!.. Вероятно, захотела вернуть свою тысячу из ваших трех, вошла с ним в компанию...

Обе Гомолицкие сидели как ошпаренные...

— Да вы не бойтесь... Он теперь к вам и носа не покажет... Не приедет и за деньгами... Меня увидел, значит, кончено... я громоотвод... — засмеялась Кедрина и принялась рассказывать, как она через горничную узнала, что Торбеев сегодня будет у них.

Мы просидели еще несколько минут и уехали...

— Целуйте ручку... Видели и слышали... — заявила Валентина Львовна, когда за нами захлопнулась дверца кареты.

Я с двойным удовольствием исполнил ее приказание.

Предсказание ее сбылось:

Торбеев более не явился к Гомолицким, хотя, как слышно, не перестал заниматься своей оригинальной профессией сватовства.

Все, рассказанное нами под вымышленными фамилиями, — факт, дорогой читатель! «Вечный жених» гуляет по Петербургу, собирая дани с алчущих связать себя узами Гименея.

От Москвы до Петербурга (наброски с натуры)

Почтовый поезд Николаевской железной дороги идет на всех парах.

В общем вагоне первого класса «для курящих» по разным углам на просторе разместились: старый еврей-банкир, со всех сторон обложившийся дорогими и прихотливыми несессерами; двое молодых гвардейских офицеров из «новоиспеченных»; артельщик в высоких со скрипом с сборами сапогах, с туго набитой дорожной сумкой через плечо; худощавый немец, беспрестанно кашляющий и успевший уже заплевать вокруг себя ковер на протяжении квадратного аршина, и прехорошенькая блондинка, с большими слегка подведенными глазами и в громадной, с экипаж-

ное колесо, шляпе на пепельных, тщательно подвитых волосах.

В ушах у блондинки красуются крупные бриллианты; красивый воздушный стан ее как-то особенно элегантно задрапирован складками шикарного дорожного костюма из темно-серой английской материи.

Она полулежит на угловом раскидном кресле и исподлобья бросает томные взгляды на своих спутников.

Каждый из них в свою очередь отвечает ей тем же, причем взгляды кавалеров, исключая всякий намек на робость, выражают самую геройскую решимость познакомиться во что бы то ни стало.

Даже катаральный немец плюет с какой-то особой, чуть не ли не геройской отвагой.

— Станция Клин!.. Поезд стоит 10 минут! — как перун, проносясь по вагонам, возвещает кондуктор.

— Уже!.. — вырывается у блондинки восклицание удивления.

— А вы разве только до Клина едете?.. — чуть не плачет один из «свежеиспеченных»

гвардейцев, поднимаясь с места и как-то особенно ухарски звеня шпорами и отпущенной саблей.

Старый жид насмешливо смотрит на юного Марса, немец угрюмо сплевывает в его сторону; товарищ юнца слегка подтягивается, как парадер на смотре; один только артельщик хладнокровно зевает, крестя свой широкий рот.

— Нет!.. Я еду в Петербург!.. — возвещает блондинка, обжигая своего нового знакомца молниеносным взглядом.

В вагоне ощущается поголовное облегчение.

Молчаливый гвардеец стучит и гремит бранными доспехами не меньше своего разговорчивого товарища; старик банкир щурит свои морщинистые и маленькие глазки; немец кашляет и плюет как-то аккуратнее и веселее.

Раздается протяжный свисток. Поезд останавливается.

В столовой блондинка, по странному стечению обстоятельств, очутилась между обоими юнцами, которые по очереди друг перед

другом угощают ее всеми кулинарными благами, украшающими буфетные столы.

Немец сидит неподалеку и сосредоточенно пьет из чашки бульон; старик-жид прохаживается мимо и лукаво улыбается.

По возвращении в вагон гвардейцы подсаживаются уже ближе к юной путешественнице и ведут с ней оживленную беседу.

Худосочный немец и старый банкир вслушиваются; артельщик вытаскивает откуда-то подушку в тиковой полосатой наволочке, плотно подсовывает себе под бок свою сумку и укладывается в кресле.

В вагон входит франтоватый барин средних лет, с тщательно выбритым, еще красивым лицом и безукоризненными манерами истого джентльмена.

Он сразу опытным взглядом бывалого человека окидывает вагон и усаживается по соседству с соблазнительной блондинкой.

Она взглядывает на него и, сдернув с правой руки перчатку, сверкает крупными бриллиантами своих колец.

Джентльмен пристально смотрит попеременно то на нее, то на ее кольца, и многозна-

чительно улыбается.

Один из юнцов перехватывает эту улыбку на лету и пересаживается поближе к джентльмену.

Разговор начинался с взаимного одолжения спичкой и быстро переходит в более интересную беседу.

— Какова?.. Не правда ли, красавица?.. — восторженно спрашивает юный Марс.

— Да... недурна!.. — снисходительно поводит франт своими выхоленными усами. — Поддержана немножко!.. А все-таки живет!

Разговор происходил на французском диалекте. Джентльмен говорит не совсем шепотом.

Гвардеец тревожно озирается.

— Тише! — остерегает он своего нового знакомого. — Она может услышать.

— Пускай ее слушает на здоровье? Все равно ничего не поймет! Это из отечественных!

— Почему вы думаете?

— Я не думаю, а наверно знаю! — улыбается джентльмен. — В чем другом я ошибиться могу, а уж на этом меня никто не поймает. Не дешево мне досталась эта наука! Не один де-

сяток тысяч я на этом курсе оставил!..

— Что же вы думаете? Из каких она?

— Да чего же тут думать? Тут и думать нечего. Из «оных», — это вне всякого сомнения. И в добавок из небогатых!.. Быть может, для контенансу на какой-нибудь провинциальной или клубной сцене время от времени подвизается... движения несколько театральны... но по профессии своя, родная, великорусская кокотка!.. Все аллюры родного, недо-создавшегося деми-монда. Все мы, к стыду нашему и в то же время к нашей гордости, до создания своего кровного демимонда еще не доросли, не допутались... Паров у нас не хватает! Мы пробавляемся еще подражаниями и подражаниями пока вообще довольно слабыми!..

На лице юного гвардейца выразилось легкое разочарование.

— Да... а?.. — протянул он. — Вот оно что! Ну, а как же вы говорите, что она «из небогатых»?!. А бриллианты-то у нее какие? Вы не заметили?..

— Напротив, заметил и подробно оценил!.. Это тоже «подражание» и тоже неособенно

удачное. Есть в Петербурге такой магазин, «а ля парюр» он прозывается, и вот в нем-то и продаются эти «парюры»... Но вы этим не смущайтесь, ваше высокопревосходительство!.. с ласковой фамильярностью истого барства прибавил красивый джентльмен, дружески протягивая руку своему юному собеседнику. — Смело, вперед!.. Чем слабее неприятельские силы, тем легче и успешнее победа... Только не зевайте, твердо помните одиннадцатую заповедь! За вами стоит опасный арьергард.

— Арьергард?.. Какой?

— А видите в том углу старого еврея? Это известный банкир Шлемензон!.. Денег у него груды и танцовщицу свою он недавно «расчитал»... как он выражается, значит, вакансия есть. Много тратить он не любит, но для этой «парюрными» бриллиантами разукрашенной блондинки его небольшое покажется целой Голкондой! Она, видимо, в тонких!

— Спасибо вам за совет!.. — улыбается гвардеец, крепко пожимая руку симпатичного джентльмена. — Ну, а сами-то вы как же?.. И не попробуете счастья?..

— Где уж нам старикам! — махнув рукой, улыбается барин. — У меня дома жена хорошенькая да четверо детишек маленьких! Что мне сия Гекуба, и что я Гекубе?

Во время этого апарте дела другого юнца идут очевидно довольно успешно. Он уже сидит рядом с соблазнительной блондинкой и играет кистями ее миниатюрной муфты.

Немец отплеывается с возрастающим ожесточением.

Еврей плотоядно улыбается.

Артельщик выводит носом легкие рулады.

Проходит несколько часов.

Оба гвардейца на верху блаженства. Они по очереди окружают блондинку вниманием и заботами, укладывают ее подушки, прикрывают пледом ее маленькие ножки, и оба млеют от восторга.

Немец захлебывается от кашля.

Старый банкир безмятежно дремлет.

Красивый джентльмен потягивается под щегольским английским пледом и, покручивая свои седеющие усы, отечески посматривал на молодых гвардейцев.

— Станция Бологое!.. Поезд стоит полча-

са! — возвещает кондуктор.

Из вагона выходят далеко не все.

Поезд двигается вновь... Все погружаются в глубокий сон... Кое-где фонари задерживаются зелеными и темно-фиолетовыми занавесками, кое-где свечи совсем тушатся... Проходит ночь.

— Станция Колпино! Остановка пять минут!.. — кричит кондуктор среди пробудившегося вагона.

Гвардейцы уже воспрянули ото сна и блестят всей красой своих мундиров, шпоры их звенят как-то особенно победоносно.

Красивый джентльмен тоже окончил свой утренний туалет, и от него несет дорогими духами и какой-то особой барской свежестью.

Вокруг немца образовалось целое озеро мокроты.

Артельщик оплеснул себе лицо холодной водой и всей пятерней провел по жирным волосам.

Старый еврей озирается во все стороны.

Блондинка встает с кресла и тщательно опускает на лицо вуаль.

Глаза ее не так красивы и велики, как на-

кануне, губы значительно бледнее, и на побледневших ланитах следы слегка стершихся розовых лепестков.

Вдали показывается Петербург.

В вагоне начинается усиленное движение.

Гвардейцы куда-то исчезают. Немец ожесточенно стягивает ремнем свой плед.

Артельщик крестится на далекую главу Исаакиевского собора.

Старый банкир, волоча ноги по ковру, подходит к блондинке.

— Вы у где оштановитесь?.. — осведомляется он, бесцеремонно заглядывая ей под шляпку.

— Я, право, еще не знаю сама... Я посмотрю.

— Ни жнаете?.. — продолжает допытываться еврей. — Ни уф кому не пишали? Ни ждуют?

— Нет, меня никто не ждет!..

— На удалую жначит?.. — улыбается он своим беззубым ртом. — Ничево!.. Не бойтешь!.. Выручим!.. Коли шчет деньгам жнаете, наведайтешь в мою банкирскую контору: Шлеменсон и Компания, уф Невского про-

спекта. Вот этого карточку пришылайте!..

И он сует ей в руку свою карточку.

Блондинка поднимает на него благодарный взор.

— Когда можно... прислать?.. — спрашивает она, захлебываясь от восторга.

— Жачем пришлатъ? Шами заходите!.. Контору жапирают уф шесть чашев!.. Я швободен!.. Карточку подадите... проведут!.. — бросает он ей на прощанье и прежними скользящими, неслышными шагами возвращается на место.

Немец давится приступом кашля и брызжет как фонтан.

Гвардейцы возвращаются и молодежато помогают своей попутчице устроиться с багажом.

Красивый джентльмен стоит в дверях и смотрит на всех не то с тоской, не то с горькой усмешкой.

Артельщик крестится на мелькающие уже вблизи кресты церквей.

Под сводом дебаркадера виднеется толпа встречающих.

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ (СЮЖЕТЫ ЗАИМСТВОВАНЫ)

Бессилие искусства (Драма в цирке)

— **О**, это просто дело упражнения и привычки — вот и все! — сказал мне старый жонглер. — Конечно, надо иметь и некоторую способность, крепкие, здоровые пальцы, а главное условие — это терпение и ежедневная работа в течение многих лет.

Подобная скромность меня удивила, тем более, что среди жонглеров, кичащихся, по обыкновению, своей ловкостью, он положительно на целую голову выдавался своим искусством. Я, по крайней мере, не встречал более ловкого.

Нет сомнения, что все часто видали не только в цирках, но и даже в убогих балаганах, исполнение заурядного фокуса, состоящего в том, что мужчина или женщина ста-

новится спиной к экрану с распростертыми крестообразно руками, жонглер же мечет издали ножи, вонзающиеся в дерево между пальцами рук и вокруг головы стоящего.

Этот фокус в сущности не представляет из себя ничего особенного. Быстрота ударов, сверкание клинков, живая цель — придают только наружный вид некоторой опасности фокуса, на самом же деле ножи весьма мало смертоносны и вонзаются на значительном расстоянии от цели.

В данном случае было не так. Тут не было ни тени плутовства. Ножи были отточены, как бритва, и старый жонглер ловко вонзал их, совсем близко у тела своей живой цели, в самые углы между пальцами руки, окружал голову и шею узким кольцом, так что человек, стоящий у экрана, не мог пошевелить головой, не рискуя порезаться.

Поразительнее всего было то, что старый жонглер проделывал все это, не глядя на свою живую цель: его лицо было закрыто маской из провощенной плотной материи, без малейших отверстий для глаз.

Понятно, что, как все выдающиеся худож-

ники, он не был понят толпой, смешивавшей его с обыкновенными фокусниками. Его маска в глазах толпы служила только доказательством несомненного плутовства.

— Он нас считает за круглых дураков, — думали зрители. Точно на самом деле можно целиться, не глядя.

Напрасно старый жонглер каждый раз перед представлением давал осматривать свою маску публике. Последняя не могла заметить обмана, но тем не менее продолжала считать себя обманываемой.

Только я один угадал в старом жонглере выдающегося артиста и был глубоко убежден, что он был чужд всякого обмана. Я высказал это ему вместе с удивлением к его искусству. Он был тронут отданной ему справедливостью. Таким образом, мы сделались друзьями и он мне скромно объяснил истинный секрет этого фокуса, непонятый толпой.

Секрет этот весь заключался в следующих простых словах:

— Быть немного способным и работать в течение многих лет каждый день.

На мою уверенность в отсутствии тени

плутовства в его искусстве старый жонглер сказал мне:

— О! да, да, вы правы, вы совершенно правы. Мне даже невозможно плутовать. Невозможно настолько, что вы не можете даже себе представить. Если бы я вам только рассказал? Но к чему?..

На его лицо набежала тень. Мне показалось, что крупные слезы блеснули в глазах жонглера. Я не смел настаивать на откровенности, но, вероятно, мой взгляд был не настолько скромн, как мой язык. Его-то молчаливой просьбе и уступил старый жонглер.

— Впрочем, почему бы мне и не рассказать вам? Вы, вы поймете меня.. Она, она хорошо поняла... — прибавил он почти свирепо.

— Кто она? — спросил я.

— Моя жена, будь она проклята! — отвечал он. — О, какое это отвратительное создание, если бы знали! Она поняла, даже слишком хорошо поняла! Этого-то я ей простить не могу! Она меня обманывала, но это так естественно со стороны женщины — это еще можно простить. Но что касается до остального — это уже преступление, ужасное преступление.

Его жена была той самой женщиной, которая каждый вечер служила ему живой целью.

Ей было лет сорок, она была, видимо, когда-то хорошенькой, но с вульгарными чертами лица: курносая со злыми глазами, с чувственным, но вместе с тем и неприятным ртом с выдававшейся вперед нижней губой.

— Я заметил несколько раз, что при каждом брошенном ее мужем ноже она смеялась едва слышным, но очень выразительным смехом, смехом горьким и звучащим насмешкой.

Я приписывал этот смех подробности исполнения номера.

— Это обусловлено между ними, — думал я, чтобы сильнее оттенить возможную опасность, презрение к этой опасности, в силу уверенности в меткости метальщика.

Мне только что пришел на память этот смех, как старый жонглер начал снова:

— Ее смех, — конечно, вы слышали его?.. Ее злой смех, которым она дразнит меня, ее подлый смех, который доводит меня до бешенства. Именно подлый, так как она хорошо знает, что с ней ничего не может случиться,

ничего, не смотря на то, что она этого вполне заслуживает, несмотря на то, что я должен был бы это сделать, наконец, даже на то, что я хочу это сделать.

— Что же вы хотите?

— Боже, неужели вы не догадываетесь — я хочу ее убить.

— Убить за то, что она вас...

— За то, что она меня обманывала? — перебил он меня. — О нет! Не за то, повторяю вам. Но самое худшее это то, что когда я первый раз простил ее и когда я сказал ей, что тем не менее я мог бы отомстить за себя, зарезав в один прекрасный день ударом ножа, не показавши даже вида, что сделал это нарочно, но как бы по несчастью, по неловкости.

— Вы ей это сказали?

— Да. И я думал об этом. Я думал, что могу это сделать. Я, кроме того, имел на это полное право. Это было так просто, так удобно, так соблазнительно. Подумайте только. Один неправильный удар, только на один сантиметр — и ее сонная артерия перерезана. Мои ножи режут так хорошо. Порез сонной артерии смертелен. Ее — моей жены — не суще-

ствуется, а я, я отомщен.

— Это верно, убийственно верно! — заметил он.

И без всякого риска для меня — не правда ли? — продолжал он. Несчастье — вот и все, случайность, промах, как это часто случается в нашем ремесле. За что меня обвинили бы? Кто подумал бы даже меня обвинить? Нечаянное убийство — это немного. Меня скорее бы пожалели, нежели обвинили! Моя жена! Моя бедная жена, сказал бы я, рыдая. Моя жена, которая была для меня так необходима, которая играла главную роль в моем заработке. Поверьте, меня только бы пожалели бы!

— Без всякого сомнения.

— И какое бы это было мщение, лучшее из всех практиковавшихся мщений, с обеспеченной безнаказанностью.

— Конечно!

— И когда я ей это сказал, как теперь говорю вам, с непоколебимой решительностью в голосе, с угрозой, готовой перейти в немедленное исполнение, разозленный до бешенства, знаете ли вы, что она ответила мне?

— Что вы честный человек, что у вас не

хватит на это злой воли...

— Не то, не то! Я совсем не такой честный человек, как вы думаете. Я не боюсь крови. Я ей это когда-то доказал. Для вас безразлично, как и когда. Но она — она знает это. Она не сомневается в том, что я способен на многое, даже на преступление.

— И она не ужаснулась?

— Нет! Она мне просто ответила, что я не буду в состоянии сделать то, что говорю. Понимаете ли вы, что я не смогу сделать...

— Почему?

— Вы не понимаете ничего! Объяснил же я вам, сколько времени и терпения потратил я на ежедневные упражнения в метании ножей, не глядя...

— Ну так что же?

— Вы, значит, не понимаете того, что она так ужасно быстро поняла! Вы не понимаете, что моя рука теперь не слушается меня, если бы я даже заставлял ее сделать неправильный удар.

— Не может быть?!

— Увы, это правда. Я на самом деле хотел исполнить задуманную месть, которую счи-

тал такой простой и удобной. Уверившись в несправимости виновной, я решался несколько раз убить ее. Я прилагал всю мою ловкость, все мои усилия, чтобы сделать отклонение в ударе на один сантиметр — этого было бы достаточно, чтобы перерезать ей шею. Я хотел, старался, но не мог, не мог никогда, никогда... Ее подлый смех звучал в моих ушах всегда, всегда...

Со скрежетом зубов, обливаясь слезами, он добавил:

— Она меня знает, она хорошо знает, что я бессилён в своей ловкости, в своем искусстве!

Исповедь (Этюд)

I

Он и она, вот как я буду обозначать героев моего настоящего рассказа, во избежание разных придумываемых имен, вроде Ивановых, Петровых, и нисколько не желая называть их настоящими именами, так как рассказ этот не вымышлен и, против моего обыкновения, далеко не забавен: лица могли бы быть указаны, а я положительно враг всяких разоблачений и коварной маскировки, из-под которой видна часть лица. Герой мой известный художник, постоянный баловень судьбы, женщин, любимец молвы, увенчанный лаврами и славой. Поклонение, почести, льстивые речи, нежный шепот, постоянное общество женщин, вот атмосфера, в которой он жил, которую он любил и которая ему не приедалась, — образ жизни, пожалуй, довольно банальный, но восхитительный! Что влекло к нему женщин? Любопытство? Любопытство ли, истинное ли чувство, может, и то, и дру-

гое вместе — ответить трудно, только они, как бабочки на огонь, со всех сторон летели к нему и своим лепетом навевали упоительные грезы на его венчанное лаврами чело.

Она явилась к нему не так, как другие, не поклонницей его таланта, не с льстивыми речами и нежным взором, а с первого раза просто, без малейшего кокетства, с каким-то чудовищным, но вместе с тем благородным цинизмом потребовала она от него стать ее любовником. Женщина света, рано, еще почти ребенком выданная против воли замуж за человека гораздо старше себя, который был ей мужем только по имени, она жаждала изведать все радости любви и взять свою долю счастья на пиру жизни. Взять в любовники кого-нибудь из окружающих ее, спуститься до первого встречного, она не могла, а потому и выбрала его, желая заставить себя простить себе свой поступок ради гения любимого человека и ставя таким образом честь своего имени под охрану его чести и имени. Какой другой ответ мог он дать этой удивительной женщине, манившей его к себе своей строгой и вместе с тем вызывающей красотой, как не

упасть к ее ногам и не покрыть поцелуями маленькие ручки, которых у него не отнимали.

II

Счастье, полное счастье, основанное на взаимном доверии, уважении и любви, было результатом этого союза. В одном из самых отдаленных уголков Петербурга, где еще встречаются сады с вековыми деревьями и роскошной растительностью, нанял он на чужое имя помещение и со свойственным ему вкусом обратил его в один из тех восхитительных уголков, где время, кажется, летит чересчур быстро, где ничто не нарушает нетерпения ожидания и громко раздается последний поцелуй прощания. Тут принимал он ее и тут нашел свое счастье. Она не солгала, когда просила научить ее любви. Невинной, чистой, девственно-прекрасной досталась она ему. Безмерное наслаждение первому сорвать этот цветок чистоты, посвятить ее мало-помалу во все тайны неги, очарование поцелуев выпало ему на долю, а многие ли находят эту полноту обладания даже в браке, где согласие большей частью синоним покор-

ности, переходящей постепенно в привычку. И он блаженствовал, упиваясь всею сладостью святотатства и тысячью восхитительных профанаций этой чистоты, но божество по-прежнему оставалось неизменно чистым в его глазах. Об упреках, угрызаниях совести не могло быть и речи. Что им было за дело в чужду их благополучия до остального мира и что мог весить остальной мир на весах, где любовь служит противовесом. Все, что она требовала, что искала в жизни, — друга для сердца и для чувств, — все это нашла она в нем и отдалась безраздельно. Ему, лично ему, человеку, жившему, страдавшему и помнившему это страдание, такая беззаветная полная отдача своего «я», конечно, была немислима; нежное, часто почти родительское чувство, совсем новое для него, испытывал он к этой женщине и благодарил судьбу, пославшую ему такую удивительную любовницу.

III

Более года прошло этого ничем невозмутимого, спокойного, как гладкая в хорошую погоду поверхность озера, счастья. Что может быть иначе, что такой образ жизни не в по-

рядке вещей, им не приходило и в голову, а между тем несчастье подстерегало их.

Однажды более чем когда-нибудь влюбленный и нетерпеливый, с большим букетом ее любимых бледных роз в руках, с горячими поцелуями на устах поджидал он ее в своем укромном гнездышке, заранее предвкушая все радости свидания, так лучезарно озарявшие однообразие жизни, но она медлила.

Наконец у дверей раздались шаги, но шаги были не ее; дверь отворилась, но вошла не она. На пороге, тихо затворив за собой дверь, стоял священник в черной рясе. Предчувствие какого-то большого несчастья, чувство неизъяснимой тоски охватило его вдруг; он знал, он угадывал, что дело касалось ее, а между тем спросить не хватало сил; священник тоже молчал, очевидно, сам смущенный своим поручением.

— Я духовник господина Х. - начал наконец новоприбывший. Художник глядел на него, ничего не понимая. — Господин Х. умирает, — продолжал тот, — через несколько часов его не станет. Пачка писем, которую он нашел у жены, имя автора которых неизвест-

но, но все между тем заставляет предполагать, что это вы, дает повод думать, что госпожа X. ему изменяла. В случае, если бы это оказалось верно, господин X. твердо решил уничтожить совершенное в ее пользу завещание и все свое состояние отказать на церкви и богоугодные заведения. Я должен буду подписаться под этим новым завещанием, но совесть моя запрещает мне быть исполнителем подобного желания, может быть, несправедливого, если бы госпожа X. оказалась безвинно оклеветанной. Обращаюсь к вам, так как вы один можете решить этот вопрос, и не как служитель алтаря, а просто как честный человек взываю к вашей чести и прошу сказать мне правду.

И медленно скрестив на груди руки, священник терпеливо стал ждать ответа.

IV

Растерянный, глубоко пораженный, стоял он, не смея поднять глаз на говорившего. Что совершилось, что происходило в нем, чем и как мог этот смиренный, но торжествующий и величавый в своем смирении служитель церкви вызвать всю бурю чувств, происхо-

дившую теперь в его душе? Стыд ли своей внутренней грязи и сознание неизмеримого расстояния между собой и этим не от мира сего человеком уничтожали его. Весь его скептицизм, выработанный опытом жизни и чтением философов, отодвигался на задний план, умолкал перед великодушием поступка: его постоянная прежде насмешка над алчностью духовенства не оправдывалась, не находила себе места. Луч ли веры, освещавший его молодость и заставлявший некогда горячо молиться в деревенской, позолоченной отблесками угасающей вечерней зари церкви, снова закрался ему в душу, или мысль, как молния сразившая апостола Павла по дороге в Дамаск, промелькнула в уме и указала на единственный, отчаянный исход спасти горячо, безумно любимую женщину — сказать мудро, но чудо совершилось, и вольнодумец-артист медленно опустился на колени перед священником и голосом далеко неприговорным сказал:

— Прошу вас выслушать мою исповедь, отец мой.

Без малейшего признака, как человек, при-

выкший ко всякого рода неожиданностям, священник осенил себя крестным знамением и приготовился слушать. Затем наступила глубокая тишина, прерываемая шепотом кающегося да тиканием часов, еще накануне звонивших им часы любви в этом очаровательном уголке неги, с застывшими, казалось, в воздухе отзвуками страстных поцелуев.

V

Приняв благословение, печальный, с опущенными глазами, встал он на ноги, но вдруг поднял голову и поглядел прямо в лицо духовника:

— Знаете ли, — начал он, — что вы обязаны забыть все, что слышали на духу, и что религия запрещает извлекать из узнанного какие бы то ни было мирские выгоды?

— Я знаю это, милостивый государь, — ответил просто священник и, вежливо раскланявшись, вышел.

Господин X. умер несколько дней спустя.

Госпожа X. унаследовала все его состояние.

Кто в силах объяснить честные порывы истинно благородных душ?

Он никогда не хотел больше с ней видеться.

В цирке (вечерняя фантазия)

Как различны по возрастам впечатления прочитанного, слышанного и виденного!

Я помню, в детстве меня возили в цирк.

Сколько радости, сколько удовольствия!

В юности я тоже посещал его и посещал часто — меня тянули туда грация движений наездниц, смелость акробатов, торжество дрессировки животных венцом творения — человеком...

Наступили более зрелые годы — я изредка и лишь случайно заходил в цирк.

Теперь я не хожу туда вовсе. Почему?

Я помню, когда последний раз был я там, меня посетили очень странные мысли...

Дошла очередь — я живо припоминаю это — до последнего номера программы — укрощения львов.

На арену вывезли на колесах громадную железную клетку. В ней быстро ходили взад

и вперед, издавая глухое рычание, потрясая гривами и сверкая глазами, три молодых африканских льва.

Они как будто рассуждали сами с собой, и мне казалось, по разнообразному тону их рычания, что эти рассуждения были разные темы.

Один, — я понимал их, — говорил:

— Кто смеет приказывать мне? Перед кем склоню я голову и на кого не выпущу когтей? Я уйду, только меня и видели! Я сломаю все запоры, я пробегу неизмеримые пространства и достигну моей далекой родины — тихой пустыни. Там, где газели, которыми я полакомлюсь, пьют у ручья, где и я утолю свою жажду, меня ждут, нежась на раскаленном песке, прекрасные молодые львицы с шелковистой шерстью, с глазами, горящими зеленым огнем. Я испущу радостный крик любви, и на мой зов откликнется та, которая любит меня. Мы пойдем с ней вдвоем по обширной пустыне, опаляемые солнцем, счастливые, свободные. Отдавшись первым восторгам любви, облизывая губы, окровавленные счастливой добычей, мы сладко заснем, и лишь луна, испу-

ганная и очарованная, будет созерцать с безоблачного неба этот супружеский сон царственной четы пустыни...

Другой более резким тоном строил другие планы:

— Кто думает подчинить меня? Перед кем склонится моя гордая воля? Сейчас схвачу я зубами решетку, замки и разгрызу их легче, чем ребенок щелкает орехи. Но я не удалюсь в тишину и покой пустыни, я побегу в города, где мои собратья изнывают в неволе, где их осмеливаются выставлять на показ для забавы. Я разрушу все клетки и освобожу несчастных узников. Нас будут десятки, сотни, тысячи, и только тогда, когда на всем земном шаре не будет ни одного льва в заключении, только тогда возвращусь я в родные страны, освобожденный и освободитель, с радостью в сердце, как подобает царю-победителю, возвращающемуся в свое отечество во главе освобожденного народа.

Третий мечтал об ином:

— Пусть не стараются поработить меня! Это потеря времени! Ни один взгляд не заставит меня потупить взора! Одним ударом моей

могучей лапы я сломаю вдребезги и дерево, и железо моей тюрьмы, все превращу в щепки и в прах. Но я жажду свободу не для наслаждений любви и не для достижения славы освободителя поработанных собратьев. Нет, совсем нет. Я уйду в самую отдаленную, неизвестную ни людям, ни львам. Там я буду жить один, созерцая вокруг себя лишь безграничные пространства: пустыню, море и небо. Я буду меняться взглядами только со звездами. Наконец, состарившись среди этой обворожительной беспредельности, я умру, склонив голову на лапы, в виду заходящего солнца.

Так — казалось мне — думали вслух эти три молодых льва, заключенные в клетке, стоявшей на арене, когда в быстро отворенной дверце появлялась укротительница.

Она не выдавалась ни силой, ни красотой, худая, бледная, истомленная, одетая в трико с блестящим шитьем.

В правой руке она держала небольшой бич, которого едва ли бы испугалась и маленькая собачка.

Но как только они ее увидели, эти три диких льва, так перестали рычать и, поджав

хвосты, сбились в кучу в противоположном углу клетки. Одно мгновение в их глазах блеснул было злобный огонек, но она хлопнула бичом и они присмирели. Под взмахами этого же бича она заставила их прыгать через барьеры и в кольца.

Тот, который, влюбленный в дикую львицу, жаждал лизать окровавленные губы, лизал руки укротительницы. Замышлявший освободить всех трех львов, укусил, подобно хорошо дрессированной собаке, одного из своих товарищей, замедлившего дать лапу, а мечтавший умереть, созерцая заходящее солнце, задрожал всем телом при холостом выстреле пистолета.

Наконец представление кончилось. Укротительница, выходя из клетки, бросила львам по куску мяса. Они зажав его в лапы, стали пожирать, видимо довольные, с потухшим взором.

Не то же ли бывает с людьми?

— Эти три льва, — не чудные ли мечты юности: страстной любви, жажды славы, возвышенных стремлений?

Но... надо есть!

Укротительница — это жизнь.

Вот каковы были мои мысли — и я перестал ходить в цирк.

Портрет (Этюд)

— Берсеньев! — раздался около меня чей-то голос. Я обернулся посмотреть на того, кто носил такую фамилию: мне давно хотелось познакомиться с этим знаменитым петербургским Дон-Жуаном.

Он был уже не молод. В волнистых волосах на голове и длинной бороде, ниспадавшей на грудь, пробивалась маленькая седина, что очень шло к их темно-каштановому цвету. Он разговаривал с какой-то дамой, слегка наклонившись к ней; его тихий грудной голос всецело гармонировал с его ласковым взглядом, полным изысканной почтительности.

Я знал, по слухам, его жизнь. Он был много раз любим безумно, и много светских дам было связано с его именем. О нем говорили, как о пленительном человеке, перед обаянием которого устоять было невозможно. Когда я

расспрашивал о нем женщин, более других рассыпавшихся ему в похвалах, с целью узнать от них причину его притягательной силы, они мне отвечали всегда после некоторого раздумья:

— Как вам сказать... я не знаю... но он очарователен.

Между тем он совсем не был красив. В нем, казалось, не было ни одного из тех качеств, которыми, по общему установившемуся мнению, должны обладать победители женских сердец. Тогда я спрашивал себя, в чем же заключается это его обаяние? В уме его?.. Мне никогда не доводилось слышать повторенными его слова, и никто не восхвалял его ум или даже остроумие... Во взгляде?.. Может быть... Или в его голосе?.. Голоса иных людей звучат такой негой, такой притягательной прелестью, что слушать их доставляет истинное наслаждение.

Мимо меня прошел один из моих друзей. Я окликнул его.

— Ты знаком с Берсеньевым?

— Да.

— Познакомь меня?

Через несколько минут мы уже обменялись пожатиями рук и беседовали в дверях танцевального зала.

Его речь была умная, меткая, с красивыми оборотами, но в ней ничего не было особенно выдающегося. Голос, на самом деле, был прелестный: нежный, ласкающий, гармоничный; но я слышал голоса более захватывающие, сильнее проникающие в душу, я внимал ему с удовольствием, как бы прислушиваясь к журчанию ручейка, совершенно спокойно, так как, чтобы следить за его речью, не требовалась ни малейшего напряжения мысли, ничего неожиданного не подстрекало любопытства слушателя и не возбуждало томительного интереса. Его разговор скорее успокаивал нервы, чем возбуждал их, так как не зажигал ни желанья возразить ему, ни с увлечением согласиться с ним.

Отвечать ему было так же легко, как и слушать. Ответ сам просился на язык, как только он умолкал, и слова лились, как будто то, что он сказал, само собой вызывало их.

Меня поражала одна мысль. Я был знаком с ним всего каких-нибудь четверть часа, а

между тем мне казалось, что мы старые друзья, что все в нем мне уже давно известно: его лицо, его жесты, его глаза, его мысли.

После нескольких минут разговора с ним, я уже считал его настолько близким себе человеком, что готов был посвятить его во все сокровенные тайники моей души.

Положительно, в этом была какая-то тайна. Тех преград, существующих вначале между всеми людьми, уничтожающихся одна за другой лишь с течением времени, при известной доле взаимной симпатии, при одинаковых вкусах и одинаковом развитии, совершенно не существовало между ним и мною и, весьма вероятно, между ним и всеми, как мужчинами, так и женщинами, которые сталкивались с ним в жизни.

Через каких-нибудь полчаса мы расстались, обещав друг другу видеться как можно чаще; он дал мне свой адрес и пригласил позавтракать у него на другой день.

Позабыв назначенный час, я явился раньше; его не было дома. Лакей отворил мне дверь, проводил меня через залу в гостиную, тонувшую в полумраке от тяжелых занавесей

и портьер, но уютную и укромную. Я сразу почувствовал себя в ней, как у себя дома. Сколько раз я замечал влияние обстановки на состояние духа посетителей. Существуют комнаты, в которых чувствуют себя глупыми; в других, напротив — остроумными. Иные наводят грусть, несмотря на то, что светлы и блестящи: другие же — веселят, хотя в них преобладают темные цвета. Наш глаз, как и наше сердце, имеет свои симпатии и антипатии, которыми не делится с нами, но сообщает их совершенно неожиданно нашему настроению. Обстановка производит впечатление на нашу нравственную природу, как воздух лесов, моря или гор на физическую.

Я сел на диван и совершенно утонул во множестве подушек. Мне показалось, что этот диван именно был сделан для меня, исключительно по моему личному вкусу.

Я стал осматриваться кругом. Не было ничего кричащего, бросающегося в глаза. Все чрезвычайно скромные, но дорогие вещи, редкая старинная мебель, занавеси из восточной материи и женский портрет на стене. Поясной портрет небольшой величины. Изобра-

женная на нем женщина была причесана гладко и скромно, с почти печальной улыбкой на устах. Вследствие ли этой прически, или же поразившего меня выражения ее лица, но никогда еще не один портрет женщины не казался мне более уместным, как этот, — в этой квартире. Почти все те, которые я видел прежде, изображали женщин в изысканных нарядах, тщательно причесанных, или же в рассчитанном неглиже, но всегда с выражением лиц, красноречиво говорящих, что они позируют не только перед художником, их рисующим, но и перед всеми теми, кто будет смотреть на их портреты.

Иные были изображены во весь рост, во всей их роскошной красоте, с горделивым выражением лица, которого не могли сохранять постоянно в обыденной жизни; другие казались жеманными даже на мертвом полотне; и у всех было что-нибудь: цветок, брошка, складка платья или губ, написанные художником для эффекта. Сняты ли они в шляпе, с кружевами на голове, или же простоволосые, — в них всегда сыщется что-нибудь неестественное. Что именно? Это трудно

определить, особенно, когда не знаешь оригиналов, но это чувствуется. Они кажутся приехавшими в гости к людям, которым они хотят нравиться и показываются во всем своем блеске; и они усвоили себе, изучили те или другие манеры, то скромные, то напыщенные.

Что же сказать о той, которая была предомной теперь? Она казалась у себя, и одна. Да она одна, так как она улыбается, как улыбаются только наедине, вспоминая о прошлом, отчасти грустно, отчасти нежно, но не так, как улыбаются в присутствии посторонних. Она казалась настолько одинаковой и находящейся у себя, что вносила во всю эту большую квартиру впечатление какой-то странной пустоты. Она жила в ней, наполняла и оживляла ее одна, в комнате могло быть множество народа, все могли говорить, смеяться, даже петь, но она всегда казалась одна, с ее улыбкой одиночества, а между тем одна она могла и оживлять эту комнату своим взглядом с портрета.

Этот взгляд был устремлен в пространство. Он, пристальный и ласкающий, покоился на

мне, но не видал меня. Все портреты знают, что их будут созерцать, и отвечают глазам глазами, которые неотступно следят за нами, с момента нашего входа и до нашего выхода из комнаты, где они находятся.

Этот же портрет не видел меня, не видел ничего, несмотря на то, что его взгляд прямо направлялся на меня.

Я припомнил слова цыганского романса:

*«Так взгляни ж на меня
Хоть один только раз:
Ярче майского дня
Чудный блеск твоих глаз».*

Эти глаза влекли меня к себе с непреодолимой силой, волновали, заставляли переживать какое-то новое неиспытанное мною ощущение — эти жившие, а, быть может, еще живущие нарисованные глаза. О, какое было в них бесконечное очарование! Они были пленительны, как небо, подернутое розовато-голубыми сумерками, и немного печальны, как ночь, которая следует за этими сумерками, и, казалось, сходит теперь из этой темной рамы, из глубины этих непроницаемых глаз. Эти глаза, созданные несколькими взмахами

кисти, носили в себе тайну той неведомой, но несомненно существующей силы, которой порой обладают глаза женщины и которая способна зародить в нашем сердце чувство любви.

Дверь отворилась. Вошел Берсеньев. Он извинился, что опоздал; я со своей стороны извинился, что пришел слишком рано. Затем я спросил его:

— Это не будет нескромностью, если я спрошу у вас: чей это портрет?

Он отвечал со вздохом:

— Это портрет моей матери, умершей в ранней молодости.

Я понял тогда причину необъяснимого обаяния, производимого на окружающих этим человеком.

Петербургская субретка (одна из столичных метаморфоз)

Андрей Николаевич Загорский только что проснулся, когда ему доложили, что его дожидается в передней горничная г-жи Малевской.

Загорский был одним из видных представителей «золотой» или, вернее, «золоченой» молодежи.

Последнее название ближе к истине уже потому, что золота в карманах этой молодежи, сравнительно с широкой жизнью, бывает зачастую весьма немного, — ее спасает «обширный кредит», но, конечно, спасает до поры до времени.

Счастливым подчас улыбается отдаленное наследство.

В таком положении находились денежные дела и Андрея Николаевича.

Небольшое заложенное имение в Рязанской губернии было единственным его достоянием. Конечно, от продажи его можно было получить довольно порядочную сумму, но это

имение служило краеугольным камнем кредита, оказываемого Загорскому «петербургскими благодетелями», и продажа его представилась делом рискованным, делом крайности.

Тем более что у Андрея Николаевича в запасе был богатый и старый дядя, отставной военный, хотя еще бодрый, молодящийся старик, но не могущий же прожить два века.

Так соображал племянник — его единственный наследник.

А потому мысль о продаже имения, хотя и приходившая в голову Загорскому, в силу этих соображений откладывалась.

По наружности Андрей Николаевич представлял из себя благообразного шатена с гладко причесанными волосами, с коротко подстриженной бородкой «a la Boulanger». Среднего роста с усталыми, не особенно умными глазами, всегда изящно одетый, он ничем не отличался от сотни других петербургских джентльменов, шлифующих в урочный час панели Невского проспекта — этих, по меткому выражению поэта, «детей вековой пустоты и наследственной праздности».

Накинув свой изящный шелковый халат, Загорский приказал лакею позвать к нему раннюю гостью.

— А, Лидия! — воскликнул он. — Письмо от Натальи Петровны?

Он протянул даже руку.

Наталья Петровна Малевская была хорошенькая и молоденькая светская женщина — жена одного из приятелей, даже друзей Андрея Николаевича, что, впрочем, не мешало ему быть с ней в интимной переписке, причем горничная Малевской — Лидия, служила для них уже в течение года верным почтальоном.

— Нет, не письмо, — смущенно произнесла хорошенькая горничная, — Наталья Петровна мне отказала...

— Отказала! — повторил он.

Это его смутило — Лидия была такая преданная.

— За что? — спросил он.

— Барыня меня заподозрила...

— В чем?

— Относительно барина...

— Относительно Сергея? — так звали Ма-

левского. — Вот как! Ха-ха-ха! Ну и что же?

Лидия опустила глазки.

— Я не могу жаловаться на Наталью Петровну. Она обошлась со мной ласково, без крика, она сказала мне только: «Я даю тебе два часа, чтобы ты могла уложить свои вещи и уехать!» Рассчиталась она со мной тоже очень хорошо...

— Что же вы хотите от меня? Согласитесь сами, что просить за вас Наталью Петровну немножко не... удобно...

— Я и сама это очень хорошо понимаю, Андрей Николаевич, только я служила вам целый год верой и правдой... У вас знакомых целый город, — все господа хорошие...

— А у вас есть рекомендация?..

— Ни одной! Мне все барыни по злости отказывали: из-за своих мужей...

Лидия снова опустила глазки.

Загорский внимательно осмотрел ее с головы до ног.

Лидия была прехорошенькой девушкой, с густыми каштановыми волосами, высокая, стройная. Это был тип избалованной субретки.

— Ваш паспорт? — сказал он.

Она быстро сунула руку в карман дипломата и подала синенькую книжечку.

Такие книжечки выдаются С.-Петербургским градоначальником только дворянам.

Это его удивило.

Загорский развернул книжечку. Лидия оказалась дочерью поручика.

— Э! Да вы дочь бедных, но благородных родителей!

— Как же с, мой папенька был офицер, моя маменька...

— Довольно. Вы дитя несчастья.

У него блеснула мысль.

У вас есть, конечно, шляпка?

— О, да...

— В таком случае садитесь и подождите меня здесь, — сказал он, возвращая ей паспорт.

Он прошел в кабинет и сел за письменный стол.

Загорский решил привести в исполнение мысль, блеснувшую у него во время рассмотрения паспорта Лидии.

Среди его знакомых была одна барыня, —

Ольга Николаевна Меньшова, жившая отдельно от мужа, служившего где-то в провинции и аккуратно выславшего ей ежемесячное содержание.

Ольга Николаевна любила окружать себя хорошенькими лектрисами; устройство дальнейшей судьбы этих лектрис составляло ее специальность.

Андрей Николаевич бывал у Меньшовой редко, но всегда, как человек, по-видимому, богатый, являлся желанным гостем.

К ней-то и решился Загорский направить Лидию. Вращавшаяся совершенно в ином кругу, нежели тот, в домах которого последняя служила в горничных, Меньшова не могла знать прошлого рекомендуемой особы.

Загорский принялся за письмо:

«Дорогая Ольга Николаевна!»

«Подательница письма дочь одного из друзей моего покойного отца — круглая сирота, судьба которой достаточно печальна, чтобы вызвать сострадание доброго сердца.

Я знаю, что вы обладаете таким сердцем. Притом вы любительница хорошеньких; моя протезе не из числа тех, которые остаются

незамеченными, в чем вы, конечно, сами убедитесь, а потому я надеюсь, что, посылая ее к вам, я тем самым кладу первый камень в основание устройства ее жизненной карьеры — вы же довершите здание».

— Вот письмо, с которым вы отправитесь на Малую Итальянскую, дом номер 17, к госпоже Меньшовой.

— Она замужем?

— Да, но мужа здесь нет, вы поступите к ней не в камеристки, а в компаньонки или лектрисы. Ах, черт возьми, забыл? Умеете вы читать и писать?

— Да.

— Смотрите — о прошлом ни полслова!.. Держите ухо востро. Сочините какую-нибудь жалостную историю насчет любви и помните, что вы круглая сирота... Поняли?

— Поняла...

— А в награду... поцелуй...

— Ах, что вы...

Время шло. Андрей Николаевич в вихре светской жизни совершенно забыл Лидию и сорванный поцелуй. Уже около года, как он потерял ее из виду, ни разу не заехав к Ольге

Николаевне.

Впрочем, Загорскому за последнее время совсем было не до Лидии, не до Меньшовой. Несколько его векселей поступили в протест; кредиторы становились все назойливее и назойливее; без залога ни за какие проценты никто не верил. Вся надежда покоилась на дядюшке, на его отпращивании в лучший мир... Если эта надежда обманет, продавай Рязанское имение, а там, хоть в петлю.

Погруженный в соображения: «где прихватить?», Загорский в обычный час шел по Невскому. Его внимание остановилось на изящной, совершенно новенькой «с иголки» коляске, запряженной парой вороных.

Коляска подкатила к магазину Антонова на углу Михайловской улицы и из нее выпорхнула на панель изящно одетая барыня.

Загорский как раз проходил мимо. Барыня, увидав его, приостановилась.

Он не мог прийти в себя от удивления — это была Лидия.

Она узнала своего благодетеля.

Загорский подошел к ней; они разговорились. Лидия сообщила ему, что нашла себе по-

кровителя, человека пожилого, но очень богатого, который ее страшно балует.

— Я обязана всем этим — она глазами показала на свой туалет и коляску — все-таки вам. Мы встретились с ним у Ольги Николаевны.

— Прекрасно, — воскликнул Андрей Николаевич, — значит, за вами, Лидия, шампанское!

— Ах он меня любит, так любит, — продолжала болтать Лидия, — что если бы...

Лидия остановилась.

— Что такое «если бы», — не понимаю.

Лидия, смеясь, прошептала что-то на ухо Загорскому.

— Так зачем же дело то стало?

— Невозможно! В его лета...

— Ну хорошо, Лидия, я вам и теперь помогу советом!

На этот раз он что-то начал шептать Лидии.

— Подумаю... однако же, прощайте...

— Прощайте и помните: маленькие рожки ведут к большому благополучию.

Молодые люди, смеясь, расстались.

Прошло более полугода.

Загорский в последнее время был как на ножах; для него разрешалось гамлетовское «быть или не быть»; при каждом визите к дяде старый лакей Иван сообщал ему, что барин нездоров и не может принять его. Загорский с наслаждением потирал руки: махну тогда за границу, в Париж... О, Господи, поскорей...

В одно прекрасное утро, когда Андрей Николаевич сидел дома, весь погруженный отчасти в сладостные мечты о Париже, отчасти — в горестные думы на тему: ни один дьявол денег не дает, — к нему явился все тот же Иван с письмом от дяди.

От волнения у Загорского даже задрожали руки, когда он распечатывал конверт.

Он стал читать:

«Дорогой племянник!

Извини меня, что я не принимал тебя последнее время. Я не был особенно болен, но зато был очень занят. Мне нужно устроить судьбу дорогой для меня особы. Около года тому назад я заехал к Ольге Николаевне, и она представила меня прелестной девушке, дочери приятеля моего брата, а твоего

отца и рассказала ее печальную историю. Она круглая сирота, ставшая жертвой гнусной западни одного негодяя»...

Андрей Николаевич тяжело задышал, крупные капли пота выступили на его лбу.

«Такая судьба тронула меня до глубины души. Она была прелестна, но, окруженная ореолом несчастья, казалась еще прелестнее. Ты помнишь: „Любви все возрасты послушны“. Я полюбил ее и не раскаиваюсь. Для меня началась вторая жизнь... О если бы ты видел, как она ласкает мои седые волосы... Скажу тебе на ушко: через несколько месяцев я надеюсь быть счастливым отцом, а я хочу, чтобы ребенок был законным.

Надеюсь, что ты не откажешься быть моим шафером.

Твой дядя и друг.

Михаил Загорский.

Р. S. Мою будущую жену зовут Лидия — не правда ли прелестное имя?»

Письмо упало из рук Загорского; он долго не мог прийти в себя.

— Придется продавать Рязанское имение! — были первые слова, вырвавшиеся у Андрея Николаевича.

Первая подлость (рассказ)

I

— Ты там что ни говори, мой милый, — заплетающимся языком ораторствовал Коко Вельяшев, видимо усердно вкусивший от яств и в особенности питей, остатками которых в изобилии был уставлен стол отдельного кабинета одного из шикарных французских ресторанов, обращаясь к находившемуся тоже в сильном подпитии Сержу Бетрищеву, — а тебе до меня, Поля и Пьера далеко, ты перед нами, извини... младенец, далеко не знающей жизни... Жизнь... это запутанная, трудная книга, для изучения ее необходимо время, ты в свои двадцать два, двадцать три года, еще только начал читать ее и дочел едва до пятой главы, а Поль, Пьер и я, нам уж под сорок, мы уже дочитываем двадцатую главу... и, увы, скоро, пожалуй, увидим короткое сло-

во: «конец».

Серж Бетрищев стал горячо возражать. К чему же в таком случае служат ему его деньги, которые он швыряет направо и налево, его кутежи, если ценой этого он не приобрел опытности. Он не пожелал окончить курса, он бросился в жизнь, в самый омут петербургской жизни, и ему кажется, что едва ли они, более зрелые, чем он, летами, могут научить его чему-нибудь новому, им не испытанному...

Но Поль и Пьер, пьяными голосами, грузно облокотившись на стол, сквозь зубы, в которых держали дорогие сигары, выразили свое полное согласие с Коко Вельяшевым и забросали Сержа далеко не лестными для него эпитетами:

— Мальчишка!

— Щенок!

Бетрищев вскочил, обиженный, уничтоженный...

Вельяшев положил ему руку на плечо, усадил снова и начал говорить авторитетным тоном:

— Не сердись, дружище, ты очень милый,

хороший товарищ, богат, великодушен и щедр, мы очень любим тебя... но все-таки тебе нельзя тягаться с нами в знании жизни... Ты вот претендуешь на это знание, говоришь, что испытал в жизни все... тогда ответь мне на следующий вопрос... чтобы быть совершенно опытным в жизни человеком, прошедшим, как говорится, огонь и воду и медные трубы, надо иметь в своем прошлом известное количество совершенных подлостей... это неизбежно... Так, у Поля — его женитьба... у Пьера — его любовь к старушкам... у меня сплошь вся моя жизнь...

Вельяшев остановился, в его голосе звучала пьяная откровенность.

— А у тебя? — после некоторой паузы уставился он на Сержа своими осоловелыми глазами.

— У меня... — пробормотал последний, совершенно пьяный и совершенно смущенный, — у меня... Я не знаю... за собой ничего такого...

— Вот видишь ли... — вставил слово Пьер... — значит, еще ты не дорос... но не беспокойся... это придет само собой...

— И очень скоро... — воскликнул Бетрищев... — и в доказательство этого я прошу у вас сроку только три дня... Я сообщу вам о моей совершенно свежей первой подлости...

Все три прихлебателя расхохотались...

— Когда?

— Где?

— Сегодня четверг... Итак, в понедельник... мы пообедаем у Фелисьена... в шесть часов... Первый явившийся выберет кушанья и вина...

— Это буду я... — заметил уверенно Поль.

— Человек... счет... — обратился Серж к явившемуся на звонок лакею и по обыкновению заплатил за ужин.

Собутыльники расстались.

II

На другой день Серж Бетрищев проснулся часов в двенадцать с совершенно свежей головой. Сон молодости уничтожил последствия бурно проведенной ночи.

Это всегда бывает с теми, кто в книге жизни читает еще только пятую главу. Его сотоварищи, дочитывающие, по их собственным словам, двадцатую, чувствовали себя, вероят-

но, на другой день далеко не так хорошо.

Проснувшись, Бетрицев тотчас вспомнил о подлости, которую он должен был совершить в эти четыре дня, под страхом уронить себя окончательно во мнении опытных прожигателей жизни; Коко, Пьера и Поля.

Он глубоко задумался, и начало интрижки, которую он намеревался закончить до понеделника, восстало в его памяти.

На прошлой неделе он случайно встретился на улице с своим другом детства и товарищем по гимназии — Урбановым, которого в течение десяти лет он совершенно потерял из виду...

Радость встречи была сердечная и взаимная... Урбанов два года уже как женился... Это был брак по любви, а не по расчету... Он усердно работал для своей маленькой женушки — Лизы... совершенной куколки, хорошенькой, изящной... В их квартире раздавались чаще звуки поцелуев, чем шелест ассигнаций... но... они еще успеют разбогатеть... под старость...

Урбанов затащил Бетрицева к себе обедать, главным образом, чтобы познакомить

его с своей женой, Елизаветой Андреевной, как представил он ее.

Та приняла старого друга своего мужа с распростертыми объятиями и, хотя обед был очень скверный, Бетрищев не соскучился... Как-то особенно легко дышалось в их маленькой квартирке на пятом этаже, казалось, какое-то внутреннее солнце освещало ее далеко не изящные стены.

Молодая женщина с нескрываемым наивным восторгом рассматривала Сержа, этого богатого юношу, изящно одетого, цвет его галстука, драгоценные камни, блестящие в его булавке и в кольцах, на выхоленных породистых руках...

Несколько раз не ее светлые глазки набегало какое-то облачко грусти... и она особенно пристально, с какой-то затаенной мыслью смотрела на друга своего мужа. Урбанов веселый и счастливый, не замечал ничего...

Когда Бетрищев стал прощаться, Елизавета Андреевна в передней нервно пожала ему руку и проговорила чуть слышно:

— О... если бы вы только пожелали...

— Заходи... почаще... ты теперь знаешь до-

рогу... — крикнул ему вслед Урбанов, перегнувшись через перила лестницы.

Об этой-то Елизавете Андреевне и вспомнил Серж, возымев «благое намерение» совершить первую подлость. Он ей понравился, это несомненно. Да и что же в этом удивительного? Он... красив... богат... Остальное пойдет как по маслу... Обмануть своего старого товарища... совратить с истинного пути эту женщину — полуробенка... до сих пор такую любящую, такую верную... разбить его счастье... убить эту любовь... разве это не будет подлостью высшей пробы... приятной и шикарной?..

— Я начну с сегодняшнего дня... — пробормотал Бетрищев. — Днем... Урбанов на службе... мы будем вдвоем... Это так просто...

Оказалось, впрочем, что это не совсем просто, так как, когда наступил час, он отложил свой визит на завтра, завтра на следующий день и так далее... Наконец наступил понедельник... откладывать было более нельзя... если только он желал вечером заслужить одобрение своих «почтенных» руководителей Коко, Поля и Пьера.

III

— Это вы!.. — радостно воскликнула Елизавета Андреевна, увидав входящего Бетрищева, — но мужа нет дома...

— Очень жаль... но я этого ожидал... — отвечал он веселым тоном, затворяя дверь. — Я и пришел побеседовать с вами... только с вами...

— Вот как...

Она посмотрела на него удивленно — любопытным взглядом, застигнутая врасплох в своих занятиях по хозяйству, одетая в простенькое домашнее платье, но все-таки прелестная, молодая, свежая, грациозная.

— Да, я хотел попросить у вас одно объяснение...

— В таком случае садитесь... здесь... около меня... и я вас слушаю...

Тогда без всяких предисловий Бетрищев спросил ее, что значила произнесенная ею при прощании с ним в последний раз фраза: «Если бы вы только желали»...

Она опустила голову, покрасневшая, сконфуженная... и, наконец, печально тихо произнесла:

— Я виновата... забудьте... об этом...

Но Бетрищев уже обнял ее за талию и привлек к себе.

Она вырвалась и встала:

— Милостивый государь!..

Тон ее изменился. В нем прозвучали ноты оскорбленного самолюбия честной женщины, вполне искренние ноты.

— Что с вами? Что же тут такого? — изумился он.

Она медленно заговорила. Она бы должна его выгнать тотчас же, но ее муж говорил ей... что он в гимназии был его единственным другом, почти братом... И он, красивый, богатый, который имеет свободный выбор между множеством женщин, которому стоит лишь протянуть руку, чтобы все желания его исполнились, он вознамерился обворовать ее мужа, ее бедного мужа, у которого единственное сокровище — она!..

Бетрищев встал.

— Это верно... — подтвердил он... — я подлый, низкий скот... Но если бы вы знали!..

И он последовательно рассказал ей свою жизнь, обрисовал своих приятелей Коко, По-

ля и Пьера, их гнусную философию жизни, свое пари на подлость, доведшее его до этого поступка.

Она слушала его с широко открытыми глазами и по временам произносила:

— Так вот каковы... эти богатые... Тогда я бы предпочла остаться бедной...

Он на коленях стал просить у нее прощения, снова обратившись в ребенка, и главное, снова обратившись в хорошего мальчика, каким он был; он умолял ее ничего не говорить ее мужу, которого он все-таки любил. Он казался таким огорченным, таким искренним, что она простила и улыбнулась.

В сущности женщина всегда польщена, в какой бы форме за ней не ухаживали... в особенности честная женщина.

— Но эта фраза? — снова начал он, — эта фраза: «если бы вы только пожелали»?.. Что она значит?

— Ничего! — отвечала она снова взволнованная. — Мой муж бранил меня... я была виновата... я вам повторяю... вдвойне виновата... вы теперь это видите сами.

Он продолжал настаивать на объясне-

нии...

Мало-помалу она высказывалась, видя, что он так богат, слыша, что он говорит так легко о суммах, для нее баснословных, о пари в несколько тысяч рублей, безумно брошенных без всякой надежды возврата, она подумала, что ее муж и она с двумя или тремя тысячами рублей, которые бы они после возвратили, могли бы выйти из своего бедственного положения. От друга детства, она полагала, можно, не краснея, принять эту помощь, но ее муж, с первого ее слова, разбранил ее, разбранил в первый раз в жизни, отвергнув самую мысль об этом.

Бетрицев слушал с нескрываемым волнением.

— Боже мой, не только две- три тысячи, а пять, десять, если вы хотите... Я поговорю с вашим мужем... я заставлю принять от меня их в знак моей дружбы.

— В самом деле... радостно воскликнула она... И... вы будете... всегда... умница...

— Клянусь вам... О, как я доволен... Не презирайте меня... я был совершенным идиотом... жизнь меня испортила... Как все это

Глупо...

Он пожал ее руку. Они расстались.

На улице он вспомнил:

— Однако, где же моя подлость?

Он посмотрел на часы, было пять часов вечера. Вельяшев, Поль и Пьер, вероятно, уже ждут у Фелисьена и заказали обед.

Бетрищев улыбнулся и отправился на ближайшую телеграфную станцию.

Там он написал и отправил телеграмму:

«Ресторан Фелисьена. Вельяшеву.

Эта телеграмма будет получена вами тогда, когда, вероятно, вы уже начали обедать, так как с мальчиком, подобным мне, нечего стесняться. Обед, вероятно, хорош, так как вы же его и заказали. Мне предстояло за него заплатить, но... я не приеду... Думаю, что у вас троих в карманах не найдется и пятнадцати рублей. Выпутывайтесь как знаете... Вот моя „первая подлость“».